

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| Вместо предисловия. Воспоминания о сражениях в Крыму, на Кавказе, Курилах и Камчатке сохранились в письмах очевидцев | 6 |
|--|---|

Севастопольские письма

| | |
|------------------------------------|----|
| Письма к К. К. Зейдлицу | 10 |
| Письмо К М. Топильскому | 34 |
| Письма к А. А. Пироговой | 35 |

Сестры милосердия на Крымской войне

| | |
|--|-----|
| Из отчетов о действиях сестер Крестовоздвиженской общины . | 135 |
| Исторический обзор действий Крестовоздвиженской общины сестер попечения о раненых и больных в военных госпиталях в Крыму и в Херсонской губернии с 1 декабря 1854 г. по 1 декабря 1855 г. | 141 |
| О Крестовоздвиженской общине | 161 |
| Письма к Е. М. Бакуниной | 178 |

Воспоминания о Крымской войне

| | |
|--|-----|
| Из «Начал военно-полевой хирургии» | 192 |
| Из отчета о войне 1870 г. | 244 |
| О сортировке раненых | 245 |
| Из «Военно-врачебного дела» | 259 |

| | |
|---|-----|
| Вместо заключения. Из письма к И. В. Бертенсону | 263 |
|---|-----|

Приложения

| | |
|---|-----|
| Вопросы жизни | 264 |
| Одесская Талмуд-Тора | 295 |
| Из писем к сыну (В. Н. Пирогову, 1874—1878) | 307 |
| Примечания | 328 |

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.
**ВОСПОМИНАНИЯ О СРАЖЕНИЯХ В КРЫМУ, НА КАВКАЗЕ, КУРИЛАХ
И КАМЧАТКЕ СОХРАНИЛИСЬ В ПИСЬМАХ ОЧЕВИДЦЕВ**

Из переписки Константина Николаевича и его помощника Головнина, 15 сентября 1854.

«Не говори никому ни слова, это строго запрещено. Известия самые плохие. Войска дрались самым страмовским образом, бежали, не выдержав и первого натиска... Можно ожидать самого ужасного. Завтра будет еще фельдъегерь. Что-то он мне привезет? Сделай одолжение — молчи!»

Из письма младшего брата Михаила — Константину Николаевичу, 16 сентября 1854.

«Меншиков говорит, что будет отчаянно защищать Севастополь, город и гавань, в чем флот как неминуемая жертва — его слова — будет также участвовать... Фельдъегерь говорит, что войско в отличном духе и как будто отлично дралось??? Потери нижних чинов — около 4 тысяч... Папа позволил говорить, что после канонады Меншиков принужден был перед превосходною силой отступить к Севастополю. И только. Прощай! Михаил».

Из письма Петра Лесли, 30 июня 1855.

«Нахимов взошел на барбет, хотя его предупреждали, но он, как и постоянно, не поберег себя, высунув из-за мешков голову. Несколько пуль просвистало мимо, но он продолжал смотреть, и какая-то проклятая ударила его в голову. Павел Степанович упал навзничь. Кровь из раны струилась, я схватил носовой платок и перевязал ему голову... Его отвезли домой. Доктора увидели, что череп вдался до мозга. Страдание было очень сильно.

Можете себе представить все наше горе. Он один только и остался, кто заботился о нас и поддерживал дух. Матросы жа-

леют его, как отца родного, все свое довольствие он раздавал им. Малахов курган — проклятое место, где были убиты и Корнилов, и Истомин. Мы лишились всех трех самых славных адмиралов, на которых имели огромную надежду... Сию секунду прислали сказать, что Павел Степанович умер... Тоска страшная. До свидания. Благословите!»

Воспоминания сержанта королевских стрелков Тимоти Говинга о битве при Альме, 1854.

«После сражения, когда множество церковных колоколов в старой Англии звонило и оповещало всех о победе, мы подсчитывали наши потери. Увы, мы заплатили высокую цену за лидирующие позиции. Мы оставили на поле боя ранеными и убитыми половину солдат, которые участвовали в сражении».

Воспоминания сержанта королевских стрелков Тимоти Говинга о битве при Балаклаве, 1854.

«Приказ командования был понят неправильно, и шестьсот благородных воинов погибли в долине смерти! Бедный капитан Нолан был первым, кто пал в этом бою. Вскоре поле было усыпано мертвыми и ранеными. Это было страшное зрелище, быть простым свидетелем, не в силах им помочь. Капитан Нолан и вся бригада будут жить в истории».

Воспоминания сержанта королевских стрелков Тимоти Говинга о военных действиях по Севастополю, 1855.

«В настоящее время жестокие столкновения происходят почти каждый день или ночь. Мы начинаем постепенно продвигаться к городу, отвоевывая то тут то там немного территории, стороны постоянно обмениваются выстрелами».

Спустя несколько дней.

«Бедные ребята, они храбро защищали свою страну, но сейчас они брошены умирать в муках, без какого-либо надзора, они лежат в крови посреди разрушенной крепости. Они хорошо служили царю, но сейчас лежат и буквально утопают в крови.

Многие из них просили помощи, другие были без ума от боли и ужасных условий, в которых они находились. Наши люди делали всё возможное, чтобы спасти тех, в ком была хотя бы искра жизни. Да, они пытались спасти тех самых людей, которых всего несколько часов назад пытались уничтожить».

Из записки главнокомандующему Горчакову.

«Присланные Ее Императорским Высочеством Еленой Павловной Крестовоздвиженские сестры подвизались в госпиталях и перевязочных пунктах Севастополя под огнем огромной неприятельской артиллерии. Ее Высочеству благоугодно было поручить их мне. Но что мог я сделать против угрожающих им ежеминутно смерти и увечья, холеры и тифа. Победив в себе чувство врожденной женской стыдливости, что выше презрения к смерти... держали в руке холодеющую руку, принимали последний вздох страдальца без различия русского или неприятеля. Какая пища для пера поэта, на которого падет счастливый жребий написать поэму «Севастополиада»... Среди них — сестры хороших фамилий и очень образованные: Бакунина — дочь покойного сенатора, Ушакова, Мещерская, баронесса Будберг... Еще замечательная личность из Москвы, из плебейского сословия, под именем Параша — доброта и усердие, храбрость и презрение к смерти баснословные. Солдаты чрезвычайно ее любили. Параша была высокого роста и очень толста, большая цель для выстрела. Французы и англичане, видя ее каждый день на бастионах, к чести их, ее щадили и в нее не стреляли... К сожалению, бомба разорвала ее в мелкие куски».

Из воспоминаний майора Курпикова.

«Как очевидец этого дела, я сохраню на всю жизнь мою впечатление, вынесенное мною в те страшные минуты. Из оставшихся после такого погрома между нами немало нашлось лиц, чьи шинели стали истинным подобием решета. Кто не вспомнит о геройском поступке знаменного унтер-офицера 1-го батальона Зинченко, который спас свое знамя и вместе с тем жизнь командующему батальоном Петру Картамышеву, в ми-

нута налетевшего на него врага. Кому не воскресит память поступок юнкера Ескова 5-й роты, решившегося принести в Севастополь тело убитого своего ротного командира штабс-капитана Клейменова, но вместе с телом погибшего от смертельной пули, и потрясающий подвиг стрелка батальона, рядового Поленова, который, истощив в борьбе с неприятелем последние силы, чтобы не отдаться в плен, бросился с крутой скалы и разбился, — и много других примеров, которые свидетельствуют о храбрости всех чинов в этом несчастном деле».

Из письма врача Николая Пирогова жене, 1855.

«Здесь в Севастополе дела вперед не подвигаются, все то же и то же; всякий день раненых и убитых понемногу, ночью вылазки с нашей стороны, приходят в лагерь англичане и французы и передаются; говорят о том, что хотят сильно бомбардировать, говорят и о том, что ждут десанта, говорят и о зимовке; но все одни слухи — так же, как и в Петербурге.

В последние два дня мало стреляли; неприятель ведет мины у одной батареи, чтобы взорвать ров, наши ведут контр-мину; недавно они выступили, чтобы взять из Байдарской долины овец, и им удалось отнять до тысячи; а впрочем, все спокойно, как будто бы и ничего не бывало, и, если бы не пушечные выстрелы от времени до времени с батареей, то и забыл бы, что находишься в Севастополе.

Не знаю, долго ли продолжится такая зима, но если долго, то это, может быть, окажет какое-нибудь влияние. Штурмовать они покуда не сунутся, десант теперь тоже труден, и так вероятнее, что они останутся зимовать; хорошо укрепившись в Балаклаве, им нечего бояться».

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ПИСЬМА

ПИСЬМА К К. К. ЗЕЙДЛИЦУ

Карл Карлович Зейдлиц (1798—1885) — доктор медицины, профессор; биограф и друг поэта В. А. Жуковского; действительный статский советник. Был другом Н. Пирогова. Стал инициатором его приглашения в Крым.

Севастополь, 16-го, 17-го и 19-го марта 1855 г.

Aequinoctium russum¹.

Христос воскрес!

Любезный друг!

Благодарю, что вы меня не забыли. Не даром нам здесь, по высочайшему повелению, засчитывают месяц за год службы. Если уже в обыкновенной жизни, в течение суток, человек может преспокойно умереть каждую минуту, т. е. 1440 раз, то возможность умереть возрастает здесь, по крайней мере, до 36400 раз в сутки² [...].

Я более трех недель был болен совершенно так, как в Петербурге в 1842 г.; но так как я теперь опытнее стал и лучше узнал свою натуру, то я уже до того дошел, что теперь могу выходить. Гретье морские ванны и постепенный переход от них к холодным обливаниям удивительно хорошо подействовали на меня. Я теперь опять обливаюсь, как я это в Петербурге делал в течение нескольких лет, из ушата холодной морской водою и чувствую себя опять здоровым. Прежнее беспокойство, боязнь смерти, я не испытывал и был спокоен и резигнирован (Покорен [судьбе]) во время моей болезни [...]. Но довольно о моем ничтожном я.

Общее несчастье и горе важнее этого. Кровь, грязь и сукровица, в- которых я ежедневно вращаюсь, давно уже перестали

действовать на меня; но вот что печалит меня,- что я, несмотря на все мои старания и самоотвержение, не вижу утешительных результатов, хотя я моим младшим товарищам по науке, которые еще более меня упали духом, беспрестанно твержу, чтобы они бодрились и надеялись на лучшие времена и результаты. Один из них, дельный, честный и откровенный юноша, уже хотел закрыть свой ампутационный ящик и бросить его в бухту.

— Потерпите, любезный друг, — сказал я ему, — будет лучше.

Между тем уже наступило весеннее равноденствие! Я ваши два письма читал во время моей болезни, а то, не прогнавайте, они остались бы нечитанными, и я приберег бы их до своего возвращения. Читал я и вашу критику моих взглядов, не без улыбки, а также и ваше мнение о происхождении чумы. Мое убеждение об определенном, неизбежном отношении смертности в каждой болезни и в каждой значительной хирургической операции так глубоко коренится во мне, что никакая, хотя бы и от друга происходящая критика не в состоянии поколебать его.

Я утверждаю, что ни в одной болезни, за исключением перемежающейся лихорадки, если она достигла повальных размеров и господствует эпидемически, какое бы то ни было лечение, даже придворно-атомистическое, не могло бы значительно изменить процент смертельных исходов. Холера, тиф, воспаление легких, эпидемический скорбут, кровавый понос — до очевидности подтверждают это. Совершенно то же самое наблюдал я и при каждой значительной, опасной операции, если она в массах или эпидемически, как это бывает в военное время, повторяется.

Пребывание мое в Севастополе еще более утвердило во мне это убеждение. То, что я в течение пятнадцати лет наблюдал в петербургских госпиталях, то же, но в более грандиозных размерах, повторяется и здесь. Можно подметить отдельные колебания, которые легко объясняются; но в общем то, что в Петербурге давало смертность трех из пяти, и здесь дает три с половиной и три четверти из пяти. Приводимое вами против меня популярное мнение, что хорошее лечение дает лучшие резуль-

таты плохого, только для отдельных случаев справедливо, и те должны подлежать беспристрастным разбору и оценке. По слухам, А. Мейер счастливый литотомист. Б. Мейер удачно оперирует бельмо, В. Мейер отлично срезывает и спиливает ноги.

Но мы знаем, что существуют и лживые трубачи прославления.

Зейдлиц жил тогда в своем имении близ Юрьева и писал Пирогову:

«Моему дорогому другу и соратнику на зеленом поле Конференции СПб. Медико-хирургической академии профессору Пирогову.

Вас менее удивит, что я при настоящих своих занятиях сельским хозяйством прочитал вашу хирургию, нежели то, что берусь за перо, чтобы с вами кое о чем поспорить. Само собою разумеется, что мне и в голову не могла прийти мысль осуждать или критиковать вашу хирургическую богатую опытность и сделанные из нее выводы. Я желаю с вами обсудить только некоторые общенаучные положения, которые вы, как мне кажется, в ущерб себе самому и нашей благородной науке и особенно практической медицине с какою-то математическою уверенностью отстаиваете. Вы сами сознавались, что и теперь способны колебаться в своих убеждениях — и не перестанете их подвергать строгой проверке, дабы там, где это окажется необходимым, заменить их более верными данными... В 3-м выпуске вашей «Хирургической клиники», на 2-й странице, вы высказываете убеждение, «что во всякой болезни и во всякой операции существуют постоянные незыблемые отношения в неудаче и смертельном исходе их». Это справедливо, если при этом имеется в виду известная отдельная болезнь или операция, но две различные между собой болезни или хирургические операции, при одинаковой внешней обстановке, непременно покажут, что они, именно потому, что они не одни и те же, могут иметь неодинаковые исход и окончание. Наблюдая целый ряд болезней и хирургических операций, мы усмотрим известный процент неудач и смертельных исходов, который выразится арифметическим

числом, по вашему мнению и этим выразится их особенность, так сказать их натура.

Но вы сами опровергаете это положение следующими затем словами: «Эти отношения находятся в зависимости от постоянных влияний внешних условий на различные болезненные процессы, от индивидуальности больного и от вида травматического поранения, неизбежного при каждой операции». Эти три внешние фактора (в патологии приводится их более) между собой различны во времени и пространстве и поэтому являются главными причинами того, что известные болезни и хирургические операции в разное время и в разных местностях относительно неудачи или смертельного исхода не одинаково протекают, а следовательно, и не дают постоянных статистических результатов. Я с намерением употребил выражение «статистических», потому что введение ваше, очевидно, стремится к тому, чтобы доказать, что полученные в массе статистические результаты дают самое верное понятие о натуре болезни и об оценке способа лечения...»

Убедитесь сами, а главное, считайте на бумаге, не надейтесь на свою память, сравнивайте успехи счастливых и несчастливых врачей, если возможно при равной обстановке, и потом уже оценивайте результаты. Отбросьте бабьи толки, департаментские отчеты, хвастливые рассказы энтузиастов, шарлатанов и слепорожденных, — спокойно следите за судьбою раненых, с пером в руках из операционной комнаты в больничную палату, из палаты в гангренозное отделение, а оттуда в покойницкую — это единственный путь к истине; но путь не легкий, особенно если наблюдатель пристрастился к известной операции или если другой оперирующий коллега непременно хочет быть счастливым, а еще хуже, если он обязан официально донести департаменту об успехах своих действий; тогда боже упаси от правдивых статистических расчетов, они тогда не безопасны для существования хирурга.

Об этом можно еще много толковать. Я, может быть, если останусь жив, да отслужу свои тридцать лет, — не забудьте, что

нам считается месяц за год службы, — соберу результаты моих статистических наблюдений об ампутациях и обнародую их.

Ампутация, как одна из грубейших больших операций, доказывающая несовершенство искусства, именно ясно доказывает, что потеря каждого члена нашего тела имеет свой постоянный фатальный процент смертности. О некоторых других значительных хирургических операциях еще можно утверждать, что известными приемами, которыми обладают только знаменитые хирурги, оперированные ими ограждаются от большей смертности. Можно, например, допустить при камнесечении, что лучший успех этой операции зависит от ловкости, с которой оператор захватывает, и легкости, с которой извлекает мочевого камень; а о вашем эстонском Буяльском³ можно тоже сказать, что он вылущивал шулята с особенною ловкостью и возможно меньшим растяжением семенных канатиков и т. п.

Но при ампутациях, если не допускать со старыми бабами легкую и тяжелую руку, нельзя допустить прямого влияния на успех операции ни ловкости оператора, ни даже особых искусных приемов, которыми он владеет. Скорость, с которою совершается ампутация, как известно, тоже не влияет на успех этой операции. Оперативные приемы при ампутациях так просты, что их можно бы с закрытыми глазами исполнить. Если нож остр, пила хорошо зазубрена, мягкие части отрезаны чисто и при том так, что покрывают кость, если, наконец, все кровоточащие сосуды, хорошо перевязаны, то ампутация *lege artis*⁴ совершилась. Так делается это ежедневно; мы видим, все идет, как по маслу.

На моих глазах здесь тринадцать или четырнадцать врачей оперируют, не считая самого себя; все они оперируют хорошо; ампутированные пользовались в пяти различных госпиталях, и я предоставлял каждому врачу вести последовательное лечение по своему усмотрению, если оно только сколько-нибудь казалось целесообразным; да я многих и сам пользовал, и все-таки результаты до сих пор остаются одни и те же; то же самое было в Симферополе, Карасубаваре и в других госпиталях. Кто по своей натуре предназначен к дурному результату, дает его с ужасающим фатализмом, и дает его, «хотя из кожи вон полезай»

Администрация госпиталя еще имеет известное влияние на успех ампутации, но и то только в некоторой степени. Хороший воздух, опрятность, питательная пища влияют, конечно, на успех операции; но и чистый воздух не везде одинаковый. Есть госпитальная зловредная конституция, о которой я давно уже проповедую, которую не исправляют ни доступ чистого воздуха, ни целесообразное распределение больных, ни хорошая пища; причина ее кроется, вероятно, в почве, на которой выстроен госпиталь, или в стенах его, наконец, не знаю, где. Есть больные и довольно многочисленные, на которых более чистый воздух, повидимому, вредно влияет.

Сотни раз случалось здесь, что когда оперированного или раненого из гангренозного отделения, где воздух до головокружения испорчен и заражен дурными испарениями, после того, как у него рана совершенно очистилась и приняла хороший вид, переводили в чистую палату, то уже через несколько дней очистившаяся поверхность раны опять получала дурной вид, и что больные сами убедительно просят, чтобы их опять вернули в гангренозное отделение. Позволительно ли природе так подшучивать над нами, бедными художниками?

Тем не менее, это факт. Если все это сопоставить, хорошее и дурное, и где же можно тут ожидать много хорошего, — я говорю о том, что есть, а не о том, что могло бы быть, — то выйдет старая песня: что по своей натуре предназначено к дурным результатам, дает их, конечно, при нынешнем несовершенстве нашего искусства.

Со временем, может быть, все будет лучше. Сила изобретательного случая велика; может быть, со временем изобретут паровую машину, посредством которой раны ампутированных будут залечиваться первым натяжением в 24 часа; может быть, со временем заменят ампутацию чем-нибудь более разумным; может быть, в будущем вовсе не будут нуждаться во врачах; тогда, вероятно, и процент смертности изменится; возможно, наконец, — что совсем не будут умирать, чем, естественно, отношение смертности сведется к нулю. Мы, вероятно, не доживем до этой прекрасной будущности.

В настоящее время раны в Севастополе так же мало заживают *per primam*⁵, как в Петербурге; я можем здесь повторить наивный ответ ординатора Обуховокой больницы, доктора Шклярского, данный им на мой вопрос, как вы исцеляете в Обуховской больнице раны ампутированных, *per primam, vel secundum intentionem*⁶, ответил: «мы лечим их *per tertiam!*, т. е. *per gangraenam*»⁷.

Если смотреть на это дело не близорукими глазами клинициста маленького университетского городка или без попользования на хвостовство, особенно же если не составляется ответ «по казенной надобности» и по указаниям славлюбивого начальника, то выходят совсем другие вещи. Но довольно об этом. Вы знаете, почтенный друг, что заслуженные профессора СПб. Медико-хирургической академии крепко держатся своих убеждений, если у них вообще существуют таковые.

Теперь обращаюсь к вашим собственным взглядам. Я, право, не знаю, ожидает ли нас весною карбункулезная чума или нечто столь же безотрадное; я только знаю, что существует достаточно условий для развития страшной эпидемии. Тиф уже свирепствует, как здесь, так и в Симферополе.

— Не настоящий, — сказал мне один врач из штаба князя Горчакова.

— Но хотя и не от настоящего, а умирают, — ответил я ему, — да кроме госпитальных больных, большею частью врачи и сестры милосердия.

Из двадцати сестер в Симферополе шесть умерло. Врачи беспрестанно заболевают и умирают; из шестнадцати, которые здесь в Севастополе под моим руководством работали, семь заболели тифом, а из восемнадцати сестер здесь семь заболели и уже две умерли.

Если вспомнить, что зимою, по всей дороге из Севастополя до Бахчисарая, на протяжении шестидесяти верст валялись сотнями гниющие трупы павших лошадей и волов, которых, конечно, никто не зарывал, а также множество человеческих трупов, весьма поверхностно похороненных по недостатку медико-полицейского контроля и по каменистой твердости грунта;

прибавьте к этому изнурение людей от беспрестанных крепостных работ, проводивших зиму в грязи, в убогих землянках, а также, что скорбут здесь почти всякую весну появляется и что уже теперь показываются больные с цынготным диатезом; что наши госпитали все переполнены и помещаются в старых, полуразрушенных или казематированных казармах, где весьма трудно очищать воздух; что недостает белья и тюфяков, и что нет ни сена, ни соломы для набивки тюфяков — то имеется достаточно поводов опасаться развития злокачественной эпидемии под влиянием предстоящих жаров.

К этому надо прибавить еще господствующую эпидемическую болезненную конституцию, порождающую знаменитые крымские лихорадки и смрадные испарения, подымающиеся из неприятельского лагеря.

При всем этом в наших госпиталях теперь гораздо лучше, чем было в ноябре прошлого года. О той грязи, о том несчастном положении, в котором с октября по декабрь валялись наши больные и раненые, невозможно себе составить понятия тому, кто не видал этого собственными глазами. Но постойте, сейчас начали сильно бомбардировать и кричать, что один из домов, в котором лежат наши больные, от бомбы загорелся!

Наступила ночь. Теперь девять часов. Сегодня назначены три вылазки, и нам опять принесут несколько сот раненых. Прощайте, до свидания. До завтрашнего утра.

Много шуму из пустяков! Во время ночной бомбардировки неприятель бросил несколько тысяч снарядов в город. Несколько сот из них лопнули перед нашими глазами в бухте. Загнали дом в нашем соседстве, так что я уже уложил свои пожитки и перебрался в Николаевскую батарею, где для нас приготовлен был небольшой блиндированный каземат. Между тем, за исключением единственного пожара, бомбы нам не причинили никакого вреда. Многие из них лопались в бухте или в воздухе; вообще, бомбы мне кажутся весьма неверным разрушительным средством.

Несколько дней тому назад союзная армия бросила около двух тысяч бомб в четвертый или пятый редут, и эти две тысячи

снарядов ранили только шестьдесят человек и убили около двадцати. Хотя по нашим мирным понятиям человеческая жизнь неопределима, но здесь все-таки думают, что ничтожное действие не стоило труда и затраты. Весь этот ночной шум должен был служить отвлечением.

Мы выстроили редут у Малахова кургана, который угрожает близкой неприятельской батарее. Союзники хотят во что бы то ни стало уничтожить этот редут и хотели его штурмовать эту ночь. Наши же в ту же ночь хотели проникнуть в шанцы и траншеи неприятельские, которые лежат непосредственно впереди нашего редута, чтобы их уничтожить. Союзники для отвлечения устроили усиленную бомбардировку, наши же — вылазку. Последствием этого было разрушение трех неприятельских шанцев, а редут остался в наших руках. Вся окрестность редута была наполнена телами убитых. У нас было 400 убитых и 1800 раненых. Вся эта масса раненых еще в ту же ночь и на другой день была размещена в различных амбулансах в городе.

И мы работали два дня, пока удалось почти всем доставить необходимую помощь; но даже теперь, шесть дней после сражения, мы находим раненых, которым еще не успели подать существенную хирургическую помощь.

На мою долю досталось шестьсот раненых. Посредством особенного способа, который я уже неоднократно испытал в подобных случаях, мне удалось в полтора дня справиться с главнейшими хирургическими пособиями. Способ этот состоит в следующем. В моем распоряжении находятся десять врачей; я ими управляю деспотически, но, смею думать, справедливо. Я распределяю обязанности этих врачей таким образом, что двое или трое из них, по очереди меняясь с другими, должны сортировать вновь прибывших раненых⁸.

Складочное место⁹ для этого необходимо. Тут сначала выделяются отчаянные и безнадежные случаи¹⁰, которые легко диагностируются; их отделяют от прочих, им дают наркотические средства, чтобы уменьшить их страдания, и тотчас переходят к раненым, подающим надежду на излечение — и на них сосредоточивают все внимание.

Их диагностируют, не трогая первоначальной перевязки, состоящей большею частью из наложенных на рану корпии и повязки, чтобы не терять времени; сложные переломы сортируются опять от простых ран. Потом транспортируют раненых со сложными переломами костей в операционное отделение или в приемный покой, поочередно, как они лежали, по три или по четыре зараз, по числу врачей, и им сперва подают первую помощь. Прочих слегка перевязывают фельдшера, под руководством одного или двух врачей.

Извлечение пуль, расширение ран сначала не предпринимаются. Это напрасный труд, над которым многие неопытные хирурги много теряют времени. В самом деле, раненый ничего от того не выигрывает, что ему вырежут пулю, которая торчит под кожей; напротив того, ему можно повредить, если второпях пальцем или зондом доискиваться в ране пули, которая засела под толстыми или напряженными мышечными слоями, а может быть и в кости, для того только, чтобы удовлетворить своему тщеславию и похвастать, «что я, мол, вытащил столько-то пуль». Этим ослепляется только непросвещенная публика, которая самодовольно улыбается, если хирург из раны вытаскивает пулю или пыж. Этот вид помощи неспешный; со временем и при большем досуге все это совершается гораздо легче и с меньшим ущербом для больного. Напротив того, раненые с сложными переломами тотчас и весьма тщательно исследуются.

Первый диагноз для каждого сколько-нибудь опытного врача не труден. Крепитация¹¹ и ненормальная подвижность составляют два вернейших признака. Таких раненых тотчас приносят в операционную комнату, кладут их на стол или на скамью, сперва хлороформируют, потом снимают повязку и решают, может ли раненый член быть сохранен или же нужны ампутация или резекция. Если принесли много раненых, то мы оперируем одновременно, на трех или четырех столах. Тут так же необходим известный порядок, чтобы выиграть время. У меня врачи так распределены, что около каждого раненого, которого оперируют, четыре или пять врачей заняты. С тем комплектом вра-

чей, которым я располагаю и к которому нередко присоединяются несколько посторонних врачей, я могу оперировать не более двух, много трех раненых одновременно.

Три врача и пара солдат при операциях — действующие лица. Один следит за пульсом во время хлороформирования, другой прижимает артерию, третий оперирует; два или три солдата держат больного. Когда ампутация окончена и главные артерии перевязаны, уже другие ассистенты занимаются остановкой последовательного кровотечения, после того как оперированного со стола перенесли на кровать. А три первые врача продолжают оперировать другого раненого. Для переноски оперированных и раненых назначены четыре служителя. Они стоят наготове, руки по швам, чтобы тотчас по команде унести оперированного со стола на кровать и принести нового раненого на операционный стол.

Таким образом все идет, как по маслу, и я с часами в руках убедился, что можно окончить десять больших ампутаций, даже с помощью не очень опытных рук, в один час и 45 минут. Если же одновременно оперировать на трех столах и с пятнадцатью врачами, то в шесть часов 15 минут можно сделать девяносто ампутаций, и поэтому — сто ампутаций — с небольшим в семь часов времени. Этот расчет для меня очень важен.

Когда я в ноябре 1854 года, около двадцати дней спустя после сражения при Инкермане, прибыл в Севастополь, то нашел еще более ста раненых в этом сражении, с сложными переломами, которым еще не было сделано никакой операции, в ужаснейшем положении. Многие из них со слезами умоляли, чтобы им отняли раздробленные конечности, но не были оперированы по недостатку порядка. Врачи извинялись недостатком времени. Между ними было двенадцать хирургов. Но им достало бы времени при большем рвении и большем порядке.

Первую повязку я накладываю через пять или семь часов, после того, как первая помощь оказана всем раненым; до того раны слегка покрываются корпиею и компрессами и выжидают последовательное кровотечение. При последнем деле мы по этому способу, как было описано, с восемью или десятью врача-

ми сделали пятьдесят пять ампутаций, оперируя сначала на одном, а потом на двух столах одновременно, в течение шести часов; часть этих врачей перевязывали, кроме того, еще прежних раненых, а два врача после ночных трудов отдыхали полдня.

С двадцатью хорошо приученными и приловченными врачами таким образом можно очень много сделать. Если же запустить первые два дня после сражения, то делается чертовский беспорядок, от которого у каждого голова закружится.

Теперь я приступлю к обсуждению важнейшей главы вашего письма, т. е. об угрожающей нам злокачественной повальной болезни. Когда я в декабре был в Симферополе, я подал докладную записку графу Адлербергу, в которой я пророчил развитие сыпного тифа в городе. Мое предсказание, к сожалению, исполнилось. Мои врачи, сестры и сердобольные вдовы уже умерли от тифа; это и не могло быть иначе. В то время было около шести тысяч заразных больных, скученных в сорока пяти домах города, не считая военных госпиталей.

Я целые дни проводил в сортировке больных, выделяя гангренозные раны, тифы, холеринные поносы и отделяя таких больных от чистых ран и свежераненых. Все было напрасно. Только что я надеялся устроить совершенный порядок, после того как я отделил всех больных заразных и одержимых нечистыми и гангренозными язвами, поместив их в особые дома, причем по странной случайности, гангренозные больные поместились в главной кондитерской Симферополя, как вдруг ночью привезли новый транспорт из Севастополя и Бахчисарая и опять все *pele-mele*¹² были сложены в разных отделениях; это оттого происходило, что не устроили складочного места для вновь прибывающих больных; о так называемых приемных покоех, при переполнении наших больниц, не могло быть и речи. В городе были большие конюшни, в которых больные, как свиньи, в грязи валялись вместе с умершими. Я настаивал на том, чтобы этот склеп превратили в приличное складочное место, на что он оказался пригоден.

После каждого нового транспорта больные складывались сперва туда, где их сортировал дежурный врач и распределял

по разным отделениям. Но не нашли подходящего места, куда можно бы перевезти больных (числом до четырехсот) из этой ужасной трущобы. Стеснялись об этом известить губернатора, который занимал слишком большое помещение, в половине которого могли бы устроить хороший госпиталь. Так проходило время в переговорах и обещаниях.

Я не мог долее оставаться в Симферополе; устроив необходимой хирургической помощью для раненых и взяв с врачей честное слово, чтобы они по крайней мере этих оперированных оградили от смешения с гангренозными и заразными больными, я уехал. Но, увы, все осталось по-старому, и тиф свирепствовал беспрепятственно; вскоре потом заболели восемнадцать сестер милосердия, главный начальник (госпиталей) барон Кистер, смотритель, комендант, два главных врача, несколько фельдшеров, ординаторов и госпитальных служителей; словом, все, что сколько-нибудь касалось госпиталей, переболело тифом. К счастью еще, что наступила необыкновенно холодная погода и что вскоре после того через транспортировку некоторых больных в Перекоп и Херсон город несколько эвакуировался.

Теперь опять наступил застой. В Симферополе опять накопилось до пяти тысяч больных, сложенных в сорока пяти инфекционных гнездах, и все еще не организована правильная эвакуация их. Госпитали в Николаеве, Херсоне и Перекопе уже переполнились, и необходимо устроить транспорты в новом направлении в Екатеринослав или Мелитополь, но не достает транспортировочных средств.

В декабре 1854 года, при сильном морозе и самой дурной погоде, перевозили больных и раненых в татарских арбах в Симферополь и Перекоп, непокрытых, без шуб, ночуя под открытым небом. Такая транспортировка продолжалась от десяти до двенадцати дней.

Теперь, при перемене начальства в армии, замечается застой во всей администрации; между тем число больных и раненых после вылазок и отдельных стычек в Севастополе постоянно возрастает. Скучивание больных достигло такой степени, что они в Севастополе занимают семь помещений, из которых толь-

ко одна Николаевская батарея безопасна и блиндирована; все прочие могут подвергаться опасности при бомбардировке. Эта батарея, как вы легко можете себе представить, из помещений худшее в санитарном отношении. В ней теперь уже приютилось до четырехсот больных и раненых, и есть еще место для стольких же. Раненые лежат между пушками на нарах; раны здесь легко поражаются антоновым огнем, а больные — тифом. В этих семи помещениях скучены теперь до трех тысяч больных.

На Северной стороне Севастополя, отделенной бухтой от самого города, еще три тысячи больных и раненых уложены в старых, сырых казармах; кроме того, еще некоторые помещения заняты примерно 1500 больными матросами. Число раненых с каждым днем прибавляется. Если случится большое дело, то мы уже не знаем, куда девать раненых. Число врачей тоже недостаточно. Приходится на каждого по четыреста раненых; перевязать сто тяжело раненых с помощью одного фельдшера дело не легкое; сверх того ежедневно еще заболевают врачи и фельдшера.

Впрочем, теперь можно ожидать лучшего. Горчаков прибыл; князя и интенданта его Затлера административные таланты уже испытаны: он скуп, как старая мумия Меншиков, но не такой резкий и мрачный эгоист, как тот, который ни во что на свете более не верил, за исключением катетеров Дворжака¹³.

Бывало, он сидел скрытный, молчаливый, таинственный, как могила, наблюдал только погоду и в течение полугода искал спасения для русской армии только в стихиях; холодный и немилосердный к страждущим, он только насмешливо улыбался, если ему жаловались на их нужды и лишения, и отвечал, что «прежде еще хуже бывало». То, что с начала войны было дурно устроено, то теперь поправить очень трудно.

Надо надеяться, что эта проклятая, старая языческая методика воевать, при которой смотрели на людей, как на слепые стратегические орудия, нисколько не заботясь о последствиях войны и об общем благосостоянии, — после этой войны у нас и у союзных получит смертельный удар, особенно если с наступлением летних жаров смертность от развития эпидемических бо-

лезней значительно увеличится; хотя надежда и действительность две вещи разные!

Здесь особенно потворствуют развитию заразных болезней зловредные испарения падалей и трупов. Осенью и зимою на дорогах и улицах сотнями валялись павшие лошади и волы; только недавно стали их, и то только весьма поверхностно, зарывать в землю. То же надо сказать и о человеческих трупах.

Французы теперь работают вблизи старого чумного кладбища. Прибавьте к этому дурно устроенные отхожие места в многочисленных гарнизонах; несносные жары в городе, которые и теперь иногда уже невыносимы, так как солнечные лучи отражаются от скал и от моря; самое положение города на холмах, разделенных балками или рвами; бухты с почти стоячею водою; эндемический¹⁴ характер здесь господствующих болезней¹⁵, — то, конечно, весьма надо опасаться последствий, которые может причинить эта война, если она еще долго продлится. Уже в конце января раны здесь показывали склонность делаться нечистыми.

Я поэтому велел очистить так называемый первый перевязочный пункт в здании Дворянского собрания, перевел больных в другие дома и устроил два новых помещения для нечистых ран¹⁶; велел проветривать прекрасное здание Дворянского собрания, и уже после того, как оно более пяти недель при открытых окнах стояло пустым, я назначил это помещение, при увеличивающемся количестве раненых, для перевязочного пункта; но, несмотря на то, что в нем с тех пор располагались только вновь оперированные, раны здесь, как и в менее чистых помещениях, показывали склонность к гангреносценции и делались нечистыми, особенно после тяжелых ранений или больших операций. В то же время и между легко ранеными проявлялись тиф и гнойный диатез.

Между внутренними болезнями преобладают тифы, иногда сопряженные с перемежающимися лихорадками (вероятно, возвратные горячки), и скорбут, но до сих пор не в острой форме. Врачи и сестры милосердия заболевают и здесь тифом, а не

которые уже умерли от него. Все это предвещает нам страшную гнилостную тифозную эпидемию во время летних жаров; будет ли она сопровождаться, как вы предполагаете, карбункулами и бубонами или нет, но всячески она будет очень смертоносна.

Поэтому, когда князь Горчаков сюда прибыл, я считал своим долгом подать ему докладную записку, в которой я изложил ему угрожающую нам опасность, доказал, что мы теперь так же мало приготовлены принять и устроить большее количество раненых, как и при его предшественнике, 24 октября 1854 года, после Инкерманского сражения, и предложил две главные и, по моему убеждению, единственные меры для предупреждения подобного неустройства: 1) Совершенную эвакуацию городских госпиталей через непрерывную транспортировку.

2) Устройство госпитальных палаток на безопасном месте, на Северной стороне. Николаевскую батарею, как единственное в городе безопасное место, казематированное и блиндированное, - могущую поместить восемьсот больных, я советовал предоставить исключительно для подания первой помощи раненым, и затем следует тотчас же отправлять их в кровати и на пароходах на Северную сторону и там размещать в госпитальных палатках. Госпитальные палатки, числом около четырехсот, с двадцатью койками каждая, тоже не должны бы приютить более двух тысяч больных, а прочие должны оставаться пустыми на случай нужды.

Как только число больных превысит две тысячи, излишек тотчас должен быть удален постоянной транспортировкой. Вино, хина и хинин должны быть в достаточном количестве и т. п.

Но, увы, все это находится пока еще только на бумаге. Семь тысяч больных скучены в Севастополе, пять тысяч пятьсот в Симферополе, несколько тысяч размещены в некоторых второстепенных госпиталях¹⁷. При этом нет правильной транспортировки и образовался совершенный застой, который теперь продолжается уже около четырех недель и с каждым днем увеличивается, особенно с тех пор, как возвели эту проклятую батарею противу Малахова кургана, которая может быть и очень важна в стратегическом отношении.

У нас нет хинной корки, очень мало хинина и вина, и при том только то вино, которого куплено мною на пожертвованные на этот предмет деньги.

Генерал-штаб-доктор Шрейбер, хотя уже седой и рябоватый, все видит в розовом свете; новый начальник армии обременен занятиями и поэтому не в состоянии обо всем думать; транспортировочные средства еще не прибыли; госпитальные палатки, если бы даже мое предложение было принято, еще не изготовлены и не поставлены. Требование на хину и хинин по дефектному каталогу еще в декабре отправлено в Херсон и до сих пор ответа нет! Медикаменты и деньги, которые я, по милости великодушной великой княгини Елены Павловны, получил, с каждым днем уменьшаются все более и более. Значительное сражение предстоит, вероятно, в скором времени; нечистые гангренозные раны, тифозные больные с каждым днем прибавляются; вот в данное время наше врачебное положение в Севастополе. Остается только надеяться, как уверяет доктор Шрейбер, что со временем все будет лучше.

В январе здесь по высочайшему повелению образовалась комиссия для изыскания врачебно-полицейских мер против распространения заразных болезней в армии и в стране. Я тоже был приглашен быть членом этой комиссии и выслушал с подобострастием ученые предложения и рассуждения о химических процессах и причинах заразных болезней, выработанные на бумаге в медицинском департаменте.

Генерал-штаб-доктор пришел в восторг от этого ученого послания и хотел так основательно поступать, чтобы употреблять при похоронах каждого трупа хлористую известь, и поэтому предписал старому госпитальному аптекарю готовить ее *en masse*. Этот старый плут, конечно, очень этому обрадовался, тотчас составил длинный список химических препаратов и аппаратов, в которых он для этого нуждался, и самодовольно улыбался, рассчитывая на верный барыш; между тем он отпускал для перевязок нечистых ран вместо раствора хлориновой извести, простую известковую воду.

Другой здесь присутствующий главный доктор кавказской армии Попов¹⁸, который теперь в Керчи, предложил свой подвижной или амбулаторный карантин, который он ввел на Кавказе, и требовал, чтобы при появлении эпидемии всякого пленного из союзной армии подвергнуть такому карантину.

По обсуждении всего этого комиссия послала составленный ею протокол своих заседаний в медицинский департамент, где его еще и теперь можно найти. Затем все осталось по-старому, как было и прежде; единственная перемена, которую я заметил, состояла в том, что карантинный врач, который прежде очень прилежно посещал наш приемный покой, вдруг исчез и, вероятно, где-нибудь занят устройством передвижного карантина. Фабричное приготовление хлористой извести еще не состоялось, и старый аптекарь теперь выражает свое неудовольствие тем, что он все врачебные предписания заменяет aqua fontana¹⁹ или настоем ромашки. Молодому, ретивому ординатору, жаловавшемуся на эти злоупотребления, главный врач госпиталя на Северной стороне ответил:

— Если вы желаете на ваше предписание получить хорошее лекарство, то потрудитесь на рецепте выставить крестик (X), и аптекарь тогда все как следует отпустит!

Моя миссия скоро оканчивается. Я в середине или в конце мая вернусь в Петербург, исключая тех случаев, когда я не останусь в живых или когда новым десантом закроют путь в Симферополь. Летом и в Петербурге может разыгаться война, и я уже для успокоения моей семьи должен вернуться туда, тем более, что я не в силах сделать больше того, что я до сих пор сделал. С другой стороны, если союзники до мая ничего решительного не предпримут, то осада Севастополя, подобно Троянской, может еще год и более продлиться, и так как надо надеяться, что между союзными не найдется Улисса, то я вовсе не любопытствую дожидаться конца этой осады.

Мне жаль только, что с моим отъездом армия наша лишится семи или восьми дельных и деятельных врачей, которые без меня ни за что здесь не останутся. Другие ко мне прикомандированные врачи зависят от военно-медицинского департамента

и *volentes-volentes*²⁰ должны здесь оставаться. Весьма сожалею также, что не буду более руководить тогда столь благотворной деятельностью сестер милосердия великой княгини Елены Павловны.

Скажу несколько слов об этом новом у нас учреждении. Великой княгине принадлежит честь введения этого учреждения в наших военных госпиталях. Первым крестовоздвиженским ее сестрам пришлось прямо идти в огонь страшной Крымской кампании. Это не нравилось людям старого закала; они предвидели, что этим может быть подорвано ненасытное хищничество госпитальной администрации.

— У нас это ввести нельзя, — ответило мне высокопоставленное лицо по этой администрации, когда я его спросил, каково он мнения о проекте великой княгини.

— Почему же так?

— Да потому, что один генерал, который не хотел их у себя вводить, сказал по этому поводу государю: «у нас нельзя, ваше величество, как раз у...т».

Это был их единственный и самый сильный довод. Старик Меншиков мне тоже сказал, когда я ему донес о прибытии сестер в Симферополь:

— Я опасаюсь, чтобы этот институт не умножил бы число наших сифилитиков.

Эти старые грешники изучили женщину только *usque ad portionem vaginalem*.

О самоотверженной деятельности сестер милосердия в крымских госпиталях надо спрашивать не меня, потому что я при этом не беспристрастен, ибо горжусь тем, что руководил их благословенною деятельностью, но самих больных, которые пользовались их уходом.

Если только дальновидный комиссариат не произнесет своего «*veto*», то я надеюсь, что это молодое учреждение введется и в других наших военных госпиталях на вечные времена. Всякий благомыслящий врач, желающий, чтобы его предписания не исполнялись грубою рукою фельдшера, должен искренно желать процветания сердобольного ухода за больными.

Если здешняя женщина [...], движимая мягкосердием своей женской натуры, подобно Магдалине, здесь на полях битвы и в госпитале, с таким самоотвержением помогала раненым, что обратила на себя внимание высшего начальства и удостоилась особой награды, то уже, несомненно, самопожертвование и христианская добродетель женщин высших слоев общества заслуживает полного удивления.

При этом не могу не вспомнить наивного ответа одной прославленной Дарьи. Община сестер милосердия, по своей инструкции, имеет право выбирать и других женщин из разных слоев общества; но сестры эти, до вступления своего в общину, должны принести присягу и обещать исполнить известные условия. Кто-то сказал Дарье, что и она, если пожелает, может вступить в число сестер милосердия.

Она явилась ко мне узнать об условиях приема:

— Надобно, — ответил я, — по инструкции, по крайней мере целый год оставаться целомудренной.

— Отчего же, можно и это, — ответила она.

Наконец, скажу еще несколько слов о нашем стратегическом и политическом положении в Севастополе. Я здесь не читаю газет, поэтому не знаю, как отдалены еще переговоры о мире. Насколько, с одной стороны, атомистика, а с другой лорд Джон Россель²¹ этому способствуют — нам тоже неизвестно. Даже живя здесь, мы ничего определенного не знаем о судьбе Севастополя.

В военных сферах котерии и интриги играют почти такую же роль, как и в нашем врачебном сословии. Военное искусство еще более основано на предположениях и случайных совпадениях, нежели наше врачебное искусство; поэтому, разговаривая с военными личностями, вы услышите двадцать различных взглядов, смотря по тому, исходят ли они от приверженцев Меншикова, Сакена, Горчакова и т. д.

При некотором навыке к таким разговорам можно уже наперед знать, какое мнение выскажет собеседник, если только знать, к какой школе он принадлежит. Если, например, слышится дурное предсказание о судьбе Севастополя, то вы може-

те быть уверены, что оно высказывается или поляком, или, что довольно странно, моряком.

Поляки пророчествуют, натурально, дурной исход, потому что они поляки; но что заставляет собственно моряков опасаться дурного исхода — неудобопонятно; мне кажется, что этому способствует то обстоятельство, что многие из них, как собственники и домовладельцы в Севастополе, боятся за свое имущество и желают быть утешенными. Это утешение им вдоволь доставляется теми, которые им с жаром противоречат, и так как они сами, вероятно, разделяют эти надежды, то они скоро соглашаются и вполне утешенные возвращаются на свои батареи и пароходы.

Все это относится только до офицеров; матросы твердо убеждены, что Севастополь неприступен.

— Возьмут ли Севастополь? — спросил я однажды одного матроса.

— Прежде он его мог бы взять, теперь не возьмет, — возразил он. *Vox populi — vox Dei*²².

Высказать ли и мне свое мнение? Как же мне не высказать его, так как и моя шкура при этом в опасности. Если ночью видишь полет бесчисленных светящихся бомб, если знаешь, что от почтовой дороги нас отделяет бухта, то невольно придет на ум этот критический вопрос; особенно, если вы не герой, а простой врач. По моему мнению, действия союзников теперь не логичны и даже детские. Чего они домогаются упорною осадю Севастополя?

Есть только три способа взять Севастополь: повторение бомбардировки, соединенное со штурмом; во-вторых, пресечение сообщения города с материком через продолжительное обстреливание северной бухты, которая есть продолжение севастопольского рейда, и 3) обложение города и почтовой дороги сухим путем и осада северных его укреплений.

Кто знает наши во время осады воздвигнутые батареи и редуты, число наших пушек, храбрость и стойкость нашего могучего гарнизона, состоящего почти из пятидесяти тысяч человек, которые большею частью под блиндажами охранены от

действия неприятельских бомб, кто сообразит, что союзники в последние два месяца почти никаких успехов не сделали и как мало вреда они до сих пор нанесли нашим батареям, — тот легко присоединится к господствующему мнению, что неприятель теперь едва ли решится на штурм, к которому могли бы его подвигнуть только отчаяние или легкомыслие.

От одного бомбардирования союзники менее могут ожидать пользы, потому что и нам и им хорошо известно, как мало вреда до сих пор нам причинили их бомбы. Чтобы прервать сообщение с Севастополем посредством обстреливания бухты, неприятель должен соорудить могучую батарею на таком пункте, которым до сих пор не удалось ему завладеть, несмотря на все усилия, потому что пункт этот защищается многими нашими батареями: No 1, Малаховым и новым Камчатским, редутами. Наконец, для обложения Севастополя сухим путем им понадобится еще армия в восемьдесят или сто тысяч, и уж никак не турецко-сардинская или неаполитанская, а по мнению Жирардена²³, даже армия в триста тысяч человек; нам же тогда следовало бы остаться без подкреплений и без резервов, между тем как они из дунайской армии с каждым днем к нам приближаются.

На два месяца наш гарнизон имеет вполне достаточный провиант. Я и сам на два месяца закупил сухарей, так что в случае нужды не умру с голода. Этот последний способ принудить Севастополь сдаться кажется мне самым вероятным, и неприятель, очевидно, имеет его в виду; только одного я не понимаю, зачем они тогда так неустанно работают и стреляют, как будто готовятся к скорому штурму; это им стоит много людей. Англичане столько потеряли людей, что уже оставили свои редуты и образуют теперь род резерва между Севастополем и Балаклавой. Французы — веселый народ, работают одни. Жизнь в сырых траншеях не понравилась любящим комфорт англичанам.

Если союзники действительно в состоянии создать значительную армию, которая нас на той стороне победит или запрет, то им не нужны громадные усилия и приготовления к штурму, ибо тогда Севастополем легко будет завладеть. Но с малень-

кою армиею они ничего не поделают, хотя бы она и не состояла из одних сардинцев и неаполитанцев, хотя бы его святейшество сам папа выслал бы ее из Рима; одною бомбардировкою без штурма, хотя бы она продолжалась семь дней и семь ночей, они не овладеют Севастополем; они этим могут разрушить город и наш флот, но не повредят ни нашим укреплениям, ни нашему гарнизону.

О самом городе и толковать не стоит; эти каменные груды в два года и скорее могут быть вновь выстроены. Что же касается до нашего флота, то он состоит из шести линейных кораблей и нескольких пароходов, которые все после кампании или переделаются в винтовые суда или, по негодности, выключатся из списков. Двенадцать кораблей уже погружены в воду.

Между тем французы,- ибо красные колеты со стыдом провалились,- чуть что не каждую ночь атакуют наши Малахов и новый Камчатский редуты, что дает много занятий нашему третьему перевязочному пункту в Александровских казармах. Они сосредоточились на этих редутах, как на главнейших препятствиях их планов, и оставили прочие батареи, даже знаменитую четвертую, в покое. Тут они подводили мины, но так неискусно, что мы, ученики их в этом деле, постоянно взрывали их контрминами.

Теперь туда не направляется ни один выстрел. Сегодня, когда я писал эти строки, Сакен прислал ко мне адъютанта предупредить меня, что у Камчатского редута ночью будет дело. Надо готовиться и ординаторам, как адмирал Непир²⁴ своим матросам приказывал: «ребята, точите свои ножи». Прощайте, иду спать.

Ваш искренний друг *Николай Пирогов.*

1855 г. 18 марта, 11ч. вечера.

В марте, апреле и мае месяцах, пришлось удалять ампутированных на второй или третий день после операции; некоторых пришлось даже перевозить тотчас после ампутации. Поэтому приходилось отыскивать ампутированных; при таком громад-

ном числе раненых нередко случалось перемешивать их имена, а иногда даже списки оперированных были потеряны; но так как за исключением моряков, которые большей частью отправлялись в Николаев, все прочие раненые или провозились через Симферополь или же там оставались, причем имена их еще раз вносились в списки, то этим до известной степени пополнялись пробелы для составления статистических выводов.

Можно было с достоверностью узнать, сколько из ампутированных умерло по дороге между Севастополем и Симферополем; но при огромном скучивании больных и раненых в последнем городе приходилось ампутированных транспортировать далее в Перекоп, Екатеринослав и до Херсона. Следить за ними при таких транспортировках, ввиду пополнения статистических выводов, оказалось задачей почти невыполнимой; при этом Ник. Иванович считал выздоровевшими тех из них, которых имена по истечении шести месяцев не появлялись в списках умерших.

Процент смертности, при вторичном пребывании Н. И., от болезней был ужасающий. В Симферополе, например, находились в сентябре средним числом около 11 000 больных, из них умерли в первый день — 109, на второй — 79, на третий — 91, на четвертый — 80, потом 75-90—70 и т. д., средним числом до 2355 умерших в месяц, так в сентябре поступило 9713 больных, умерло 3103. От апреля до отъезда Пирогова осенью до 30 000 больных были транспортированы в Харьков. Из них 6000 вернулись в Екатеринослав, а сколько вернулось в Крым, неизвестно. От 6 июня по 27 августа, включая отбитый штурм и занятие неприятелем Южной стороны, по официальным сведениям выбыли из строя Севастопольского гарнизона до 30 000 человек убитыми и ранеными; а с октября 1854 года до отступления гарнизона на Северную сторону выбыло из строя 102 000 нижних чинов и до 3000 штаб и обер-офицеров... Число же больных за все время осады Севастополя еще превышало эту ужасающую цифру».

Письмо К. М. Топильскому

Михаил Иванович Топильский (1809—1873) — российский государственный деятель, сенатор, тайный советник (1857). Главный деятель ведомства юстиции при министре В. Н. Панине (до и после Крымской войны). Он прислал Пирогову деньги для помощи защитникам Севастополя от имени неизвестного благотворителя.

Севастополь. 1855. 6 марта

Сим честь имею уведомить ваше превосходительство, что присланные неизвестным благотворителем двести полуимпериалов золотом я получил.

Но условия для раздачи их, определенные в вашем письме, исполнить трудно. Весьма немного находится здесь таких офицеров, которые назначаются в отпуск, которые же и назначаются, имеют обыкновенно свой капитал и поместье и вообще достаточные люди; бедному офицеру и в голову не придет проситься в отпуск на казенном иждивении; такие остаются обыкновенно в госпиталях — покуда или выздоровеют или умрут.

Несмотря, однако же, на это, я дал знать о получении мною суммы от неизвестного благотворителя, для означенной цели, г. г. начальникам штаба, и до сих пор, хотя уже прошло около месяца, никто не оказался подходящим под условия, определенные благотворителем.

Я в конце апреля или в начале мая намереваюсь возвратиться в Петербург. Спрашивается, что должен я буду предпринять с означенной суммой, когда она останется без употребления. Должен ли я буду поручить для раздачи офицерам, на определенных условиях, г. г. начальникам штаба или возвратить вам, или же не переменит ли неизвестный благотворитель своих условий и не позволит ли поступить с этою суммой так, как это делали другие особы, снабдившие меня деньгами для покупки раненым офицерам и низшим чинам различных вещей, в которых больные чувствуют недостаток и между тем не входят в

обыкновенное госпитальное содержание, как-то: вино, чай, белый хлеб, сбитень и т. п.

Покорнейше прошу Вас предложить все это на благоусмотрение благотворителя и о последующем решении не замедлить уведомить меня через курьера и фельдъегеря (по обыкновенной почте ответ придет не прежде четырех недель).

Н. Пирогов

ПИСЬМА К А. А. ПИРОГОВОЙ

Пирогова Александра Антоновна (1824—1902) В девичестве баронесса Александра фон Бистром. Вторая жена Н. Пирогова.

Письма Н. И. Пирогова к жене, Александре Антоновне²⁵,
за 1854-1855 гг.

№ 1. 29 октября. Пятница [Москва]

Милая Саша, пишу тебе от Лизы²⁶, которая собирается в С.-Петербург, но которой я отсоветываю; не знаю, послушается ли Н. П. Волков, спасибо ему, распорядился прекрасно, так что тарантас уже нанят и я сегодня же часов в 7-8 вечера отправляюсь далее с Сохраничевым²⁷. Поблагодари от меня г. Волкова. Отъезжаю от Иноземцева²⁸, отобедав у Павла Петровича. Дорогу, слава Богу, сделали порядочно и чрезвычайно спокойно в семейном отделении. Один болтун только, который, несмотря на свои 50 лет, толковал только о девках и пакостях, надоедал мне по милости Витгенштейна²⁹, который его затащил к нам.

Прощай, береги себя, будь здорова, целую детей. Благословляю и целую вас всех. Твой.

№ 2. Среда. 2 ноября [1854 г.]. Харьков. 11 часов вечера

Только что сейчас приехали и чрез два часа уезжаем. Дорога от Курска, двести верст, ужаснейшая: слякоть, грязь по колени, но вчера сделался вдруг вечером мороз при сильнейшем ветре, так что зги не было видно, и мы принуждены были остано-

виться на 5 или 6 часов на станции в одной прегадчайшей комнате. Я еще не брился, не мылся и не переменял белья с Петербурга. Все, слава Богу, здоровы и веселы; у Обермиллера³⁰ была нога стерта, так что чуть рожа не прикинулась; у Калашникова³¹ мальчики в глазах прыгали; но все это миновалось. Прощай, душа, целую тебя: теперь напишу уже из Севастополя [...].

Твой навсегда.

№ 3. Екатеринослав. Пятница. 6 ноября [1854 г.]. 12 часов утра

Наконец дотащились до Екатеринослава. Дорога от Курска, где шоссе прекратилось, невыразимо мерзка. Грязь по колени; мы ехали не более 3 и даже 2 верст в час, шагом; в темноте не было возможности ехать, не подвергаясь опасности сломить шею, и потому мы принуждены были оставаться по 6 часов на станции, покуда темнота проходила. Нас застал на дороге около Белгорода жесточайший ураган, который был также, как я слышу, и в Севастополе³².

Не знаю, когда-то доедем; грязь и здесь ужаснейшая. Мы едем трое в тарантасе. Калашников с вещами в телеге следует позади; ось у телеги переломилась, ее подлец ямщик навел, я думаю, нарочно на сугроб и свалил в канаву. Мы до сих пор все, слава Богу, здоровы. Здесь надобно купить кое-что и именно большие мужицкие или охотничьи сапоги; говорят, что в Крыму несосветимая грязь.

Что ты делаешь, моя душка, здорова ли, здоровы ли дети? Целую вас всех всякий день заочно. Прощай. Кланяйся Маше³³ и всем нашим. Теперь напишу уже из Севастополя.

Погода переменчива; вчера было так тепло, что я уже хотел вынуть шинель, а сегодня опять холодно. Надобно сказать Антонскому³⁴, что почты между Харьковом и Екатеринославом в самом жалком состоянии. Вчера мы на одной станции взяли курьерских лошадей; не нашли ни смотрителя, ни помощника, ни ямщика, подорожную не вписали в книгу, прогонов не заплатили, потому что некому было платить, и уехали [...].

Прощай еще раз. Целую тебя и детей.

№ 4. 14 [ноября. 1854 г.]. Севастополь. Воскресение

Приехал в Севастополь 12 числа и спешу тебя уведомить, милая Саша, что, слава Богу, жив и невредим. Подробное письмо начал было писать вчера, но не успел окончить; завтра едет фельдъегерь, а мне некогда; с 8 часов утра до 6 часов вечера остаюсь в госпитале, где кровь течет реками, слишком 4000 раненых. Скоро поеду в Симферополь навстречу сестрам милосердия; устал, лежу и пью чай; погода сегодня, как в августе или в конце июля у нас, но зато вчера целый день шел дождь. Через несколько дней ты получишь первый отчет, который и сообщишь Здекауеру³⁵ для прочтения моим однокорытникам. Слышится треск бомб и ядер, к вечеру, но не слишком часто. Дела столько, что некогда и подумать о семейных письмах.

Чу, еще залп; но мы в безопасности: остановились в бастионе № 4 Северной стороны.

Не сердись, душка, что пишу мало, но скоро получишь целую кучу любопытных известий и о дороге и о нашем пребывании. Я выезжаю утром в 8 часов на казацкой лошади в госпиталь и возвращаюсь весь в крови, в поту и в нечистоте в 4, 5 и 6 часов вечера. Целую тебя, прижимаю к сердцу. Поцелуй детей; скажи себе и им, что муж и отец думает об вас и за 2000 верст.

Прощай, моя душка.

Вот что сообщает о приезде Пирогов в Севастополь современник-врач Ульрихсон:

«В это критическое время явился к нам из Петербурга академик Николай Иванович Пирогов с десятком избранных им самим сведущих хирургов. Не успев познакомиться с санитарными учреждениями в самом городе, он принялся водворять порядок на Северной стороне. После сортирования раненых отправлен был огромный транспорт больных в Симферополь и прекращена была транспортировка раненых из нашего временного госпиталя, чрез что открылась возможность уложить по местам всех раненых и заняться поданием помощи страдаль-

цам. Прибывшие хирурги вместе с военными врачами принялись деятельно за работу и вскоре все больные были перевезены и успокоены... По приведении в порядок местного госпиталя на Северной стороне профессор Пирогов принялся за организацию санитарных учреждений в самом городе. Приняв в свое ведение от медицинского инспектора Черноморского флота первый перевязочный пункт, он первым делом стал заботиться, чтоб дать большой простор раненым и сохранить по мере возможности чистый воздух в комнатах. Для этой цели кроме дома Благородного собрания в городе заняты были все казенные здания и более удобные дома частных жителей, где прежде помещались одни только второстепенные перевязочные пункты. Теперь занята часть Николаевской батареи, дом Инженерного ведомства, Екатерининский дворец и купеческие дома — Орловского, Гущина и других, где можно было поставить от 30 до 50 и более коек.

С профессором Пироговым явились в то время в Севастополь лучшие молодые хирурги, а именно: Беккерс³⁶, Обермиллер, Каде³⁷, Реберг, Пабо, Хлебников, Тарасов, Тюрин, Сохраничев и опытный фельдшер Калашников. Все они занимались в главном перевязочном пункте и заведывали ранеными во вновь открытых отделениях, навещая в то же время и больных на Северной стороне. Наш временный госпиталь посетил Николай Иванович по водворении порядка в городе. Он нашел у нас много неправильностей, как в лечении ран, так и в содержании больных, указав меры к исправлению; но никого из своих ассистентов не назначил для надзора за пользованием больных и раненых. Даже добровольные наши сестры милосердия не были заменены подготовленными сестрами Крестовоздвиженской общины, явившимися к нам в Севастополь в конце ноября. Один только десмургист³⁸ Сохраничев заходил изредка к нам в госпиталь и показывал, как нужно налагать по новому способу гипсовые повязки на сложные переломы».

Здекауер писал:

«Был приглашен в нашу академию на новую кафедру госпитальной хирургической клиники и патологической анатомии

известный тогда уже своими классическими сочинениями по хирургии и анатомии гениальный профессор Н. И. Пирогов. Он вскоре стал заведовать всеми вскрытиями по госпиталю. К нему поступали на секцию (вскрытие) и умершие в моем отделении больные, с весьма подробными историями болезней и вначале не редко проблематическими диагнозами, которые тотчас обратили на себя его внимание.

Так как я присутствовал при всяком вскрытии, то мне не трудно было сообщить подробный и правдивый перечень прижизненных функциональных расстройств и объективных явлений, но только мои заключения о значении последних и связи их с органическими расстройствами далеко не всегда были верными. При этих проверках мы скоро познакомились, и строгий разбор моих ошибок, с указанием причины, отчего они произошли, сделался для меня драгоценным источником хотя медленного, но основательного усовершенствования не столько в диагностической технике, которую я себе давно усвоил, сколько в умении узнавать известные органические расстройства по выдающимся при них группам объективных признаков и функциональных расстройств. В этом направлении и я имел счастье быть учеником Пирогова. При этих взаимных поверочных занятиях, продолжавшихся более двух лет, завязалось не только близкое знакомство, но и более тесная дружба между нами, я сделался домашним врачом у Пироговых и оставался таковым до отъезда его из Петербурга».

№ 5. 12 [-14]ноября. Пятница. 1854. Севастополь

Слава Богу, здоровый, следовательно живой, прибыл сегодня в 12 часов утра в Севастополь. Как был, так и есть; такой же точно, как выехал из Петербурга, нисколько не переменился, тебя люблю по-прежнему; как? — ты это сама знаешь.

Ты, я знаю, милая Саша, была бы довольна и этим одним известием, но есть люди, которые мешаются в чужие дела и хотят непременно знать, как и что и почему и тьму подробностей, для тебя вовсе незанимательных. Я думал-думал, как бы угодить этим господам, а не угодить нельзя добрым людям.